

**Народ, власть и смута в России:
размышления на полях одной дискуссии**

23 октября 2009 г. в Институте социологии РАН состоялся круглый стол «Народ и власть в российской смуте»¹. В нем приняли участие более 30 ученых из России и Беларуси².

Тема смут как крушений порядка космоса, воцарения хаоса, а затем, по прохождении фазы хаосмоса — возникновения нового социального космоса, нового порядка — исключительно важна как в научно-теоретическом, так и в практическом плане. Мы до сих пор живем в условиях смуты, которая то затихает, то просыпается, смуты, которая совпадает с кризисом мировой системы, системным кризисом капитализма. О нем очень много и долго писали, предсказывая его приход, и вот теперь он пришел — вполне в духе истории о волке, в которой долго пугали волками, все привыкли, а потому реальное появление волка стало неожиданным. Более того, можно ожидать, что при выходе из смуты наши «друзья» на Западе попытаются вернуть нас в нее, ведь заявил же Г. Киссинджер, которого до сих пор принимают в Москве: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции восстановления ее в единое, крепкое и централизованное государство».

Осознание социальных крушений, их причин и механизмов — тем более важная вещь и потому, что за одного битого двух небитых дают. Как заметил в своем докладе П. П. Марченя, «от того, насколько властью и обществом постсоветской России будет осмыслена история крахов и возрождений Державы, во многом зависит не только возможность бытия России как империи, но и глобальное будущее современного мира»³.

Действительно, от степени зрелости общества и в еще большей степени власти зависит очень многое. Проблема, однако, в том, что именно в смутное,

предреволюционное время власть и господствующие группы поражает социальная слепота. «Эта парадоксальная слепота власти, — верно замечает А. М. Колганов, — объясняется вовсе не тем, что проблемы не осознавались. Однако необходимость решения именно этих острейших проблем вошла в прямое столкновение с интересами нового господствующего класса — буржуазии». Говоря об этой «слепоте власти», «которая в упор не видит насущных проблем»⁴, Колганов имеет в виду характеристику ситуации 1917 г., но она распространяется на все системные кризисы русской и не только русской истории, поскольку классовая принадлежность нередко существенно ограничивает адекватность восприятия ситуации. И — результат, фиксируемый Колгановым: «Если власть не только игнорирует нужды большинства, защищая лишь интересы узкой правящей группы (класса), но при этом еще и не отдает себе отчет в природе конфликта, в который она вовлекается... это может создать угрозу сохранения власти»⁵.

Слабое понимание собственной природы, собственного народа («общества») и отношений с ним — характерная черта всех исторических систем власти в России. Так было с советским обществом, и Ю. В. Андропов не случайно обронил фразу о том, что «мы не знаем общества, в котором живем и трудимся». Сегодня, спустя почти три десятилетия, ситуация ухудшилась: к неосознанности происходящего, когда-то обусловленной ригидностью истмата, с одной стороны, и запретом на иные формы рациональной рефлексии, с другой, добавились мутные потоки третьесортной западной социологии, политологии, экономики и других дисциплин, в которых сегодня ловят рыбку целые исследовательские и учебные заведения «либерального толка».

Когда власть сильна и контролирует ситуацию, непонимание, о котором идет речь, и наличие «структур непонимания» может и не создавать серьезных проблем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако как

только власть слабеет (вторая половина XIX — начало XX вв., 1980-е гг., да и после тоже), это оборачивается для нее бедой. Как заметила Ю. А. Жердева, «проблема, с которой столкнулась имперская администрация во второй половине XIX — начале XX вв., может быть обозначена как незнание механизмов контроля публичного мнения в условиях нарождавшегося нового городского «информационно-публицистического» общества»⁶. Кстати, показательно, что Россия, за исключением 1930—40-х гг. проигрывала и внешние информационные войны — это касается уже научной рефлексии по поводу внешнего мира.

Если власть не готова смотреться в зеркало прошлого и настоящего, то это должно делать общество, точнее, такой его сегмент, как ученые — обществоведы и историки. Тем более что 2012 г. объявлен у нас годом российской истории — дождались под объявленный конец света. И вполне логично в духе времени обществоведы и историки начали с обсуждения проблем смут и революций — архиактуально. Этой теме и была посвящена дискуссия, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания и размышлений по ее поводу. Тем более что ее содержание объективно выходит за рамки смут и революций⁷, а ставит серьезные вопросы о природе русского и советского социумов, о том, что такое русский человек, наконец, о методологии изучения нашей истории и ее соотношении с историей мировой.

Выступления в дискуссии можно разделить на две части — концептуальные и посвященные конкретным вопросам. Цель настоящей статьи — осветить теоретико-методологический аспект дискуссии.

1. «Определяйте значение слов» (Р. Декарт): «смута» и «революция»

Прежде всего участники дискуссии попытались определить, как соотносятся смута и революция. Только для одного из выступавших — В. Д. Соловья — это одно и то же⁸, другие участники дискуссии попытались провести разграничения.

Так, по мнению И. А. Анфертьева, революция — это то, что «уничтожает препятствия на пути прогресса», при этом «кардинальным образом меняется социально-политический облик и весь уклад жизни общества», революция «удовлетворяет запросы наиболее значительной части населения»⁹. В отличие от этого, смута не ведет к качественным изменениям, существующий социально-политический строй сохраняется. С этой точки зрения, по мнению Анфертьева, события 1917 и 1991 гг. — это революция, а 1905—1917 гг. — нет¹⁰. Кроме того, события рубежа 1920—1930 гг. — это революция (в этом И.А. Анфертьев согласен с тезисом А.М. Колганова о «второй революции большевиков 1929—1930-х»¹¹), с помощью которой Сталин преодолел смуту¹². Смута, считает историк, может предшествовать революции, но революция может произойти и без периода смутного времени. «Пример — революция августа 1991 г. в России, когда в достаточно мирной обстановке Советский Союз распался, а советская власть и ее становой хребет в лице компартии ушли в небытие»¹³.

Анфертьев затронул очень интересную проблему, порождающую следующий вопрос: а не был ли распад СССР и революция августа 1991 г. **началом** смуты? Если да, то ошибочно противопоставлять смуту и революцию в долгосрочном контексте, а собственно в таком контексте и должен рассуждать историк, памятуя броделевское «событие — это пыль». Есть сомнение и в степени бескровности распада СССР — в любом случае это вопрос спорный. Спорным также представляется и тезис о том, что существовавшая в СССР власть ушла в небытие. Власть — это ведь не только фасад, это организационные и финансово-информационные структуры. С учетом появившейся в последнее десятилетие информации становится ясно, что во второй половине 1980-х гг. из СССР выводились огромные средства, которые вкладывались в западную экономику, превращаясь в частные и корпоративные активы, создавалась инфраструктура — все это для сохранения

контроля над страной в новых условиях. Сомневающимся отсылаю к служебной записке В. И. Ивашко М. С. Горбачеву (секретный документ 15703, август 1990 г.; открыто опубликован в 1992 г.) и ряду аналогичных документов.

Ну а с двумя конкретными тезисами Анфертьева просто нельзя согласиться, поскольку они не соответствуют действительности. Первое: Ленин с горсткой последователей никак не мог выйти победителем с государственным монстром самодержавия¹⁴, поскольку к моменту возвращения Ленина в Россию в апреле 1917 г. самодержавие уже рухнуло, оказавшись той самой гнилой стеной из апокрифа о молодом Ульянове. Второе: по поводу августа 1991 г. Анфертьев пишет, что это стало результатом следующего порочного круга: «...чем больше власть подавляла недовольство, а не устраняла причин его возникновения, тем больше это недовольство накапливалось. И рано или поздно этот конфликт между властью и народом должен был разрешиться»¹⁵ — разрешением стал 1991 г.

У меня вопрос: это где же и как же горбачевская власть образца 1985—1987 гг. и тем более 1988—1991 гг. подавляла недовольство народа? Напротив, это недовольство существующей системой с помощью яковлевских СМИ она всячески стимулировала. 1991 г. стал результатом совсем иных процессов и механизмов, чем полагает Анфертьев. Но вернемся к смутореволюциям.

С. Ю. Разин трактует смуту как системный кризис, масштабный настолько, что охватывает физическое и метафизическое пространство социума и соразмерен империи, в которой происходит¹⁶, в данном случае — Российской. Вообще, по мнению П.П. Марченя и С. Ю. Разина¹⁷, подлинное понимание смысла и социокультурного механизма Русской Смуты невозможно вне осмысления феномена империи¹⁸. В том, что смута — это системный кризис государственности, согласна и Е. В. Павлова, по мнению которой смута — это, помимо прочего, и кризис представлений о том, какой должна быть власть¹⁹. Перефразируя М. Булгакова, можно сказать, что

смута — это и смута в головах. «Смутные времена, — пишет С. Ю. Разин, — в российской истории наступают тогда, когда Власть перестает, с точки зрения массового сознания, быть “своей”, перестает соответствовать той цивилизационной задаче, той Миссии, которая на нее возложена. В этом случае народные массы приводят на политический Олимп новую элиту, поведение и идеи которой резонируют с их сознанием»²⁰.

В докладе А. М. Колганова представлена следующая диалектика смуты: смута может вылиться в революцию, и тогда смута становится формой революционных событий, но революция не всегда протекает как смута, характерной чертой которой является распад государственности²¹.

В. П. Булдаков считает, что «понятие... революции использовалось по преимуществу теоретиками (а также легковесными политиками), а образ смуты — писателями, художниками, которые опирались на житейские народные представления и собственную интуицию. Те и другие фактически говорили на разных языках, причем первые грешили схоластичной умозрительностью, вторые — вульгарным эмпиризмом. Между тем логическое отличие смуты от революции может состоять лишь в том, что в ней гипертрофирован эмоциональный момент, а модернизационный компонент, напротив, приглушен либо отсутствует вовсе. В известном смысле соотношение смуты и революции отражает новые и старые представления об истории, связанные, в свою очередь, с эпохой Просвещения. Сложно говорить о революции применительно, скажем, к дворцовым переворотам, хотя формально революция означает именно переворот. Смута — заведомо архаичное явление, некое коловращение, случающееся по преимуществу в традиционалистской среде; революция, напротив, обязана своим появлением эпохе Модерна. Использование термина “смута” уместно при характеристике бытового восприятия всякой нестабильности — в том числе и революции. К тому же, смута несет на себе

отпечаток эмоциональной, преимущественно субъективной оценки события»²².

Отсюда вопрос: могла ли в России произойти собственно революция, если известно, что численно преобладающая масса непременно повернет процесс вспять? Для В. П. Булдакова «смута» — это образ, а не понятие²³ (то, что «это всего лишь образ», утверждает и Б. Ф. Славин²⁴), и образ этот представляется ему более емким и более точно соответствующим реалиям системного кризиса в архаичной среде, чем понятие «революция», навеянное отнюдь не бесспорными аналогиями с Великой Французской революцией.

Вот такой разброс мнений. Начнем с вопроса о соотношении прогресса и революции. Прав В. Д. Соловей, заметивший, что революция далеко не всегда связана с прогрессом, как это считает И. А. Анфертьев. Кстати, у последнего налицо противоречие: если революция по его определению должна удовлетворять запросы наиболее значительной части населения, то август 1991 г., вопреки тезису Анфертьева, это никак не революция, поскольку эти события привели к резкому ухудшению жизни огромной части населения, вызвав регресс в экономической, социальной и духовной сферах. При этом августовские события 1991 г. в купе с обусловленными ими «реформами» Гайдара (по сути — массовой экспроприацией населения) изменили социально-экономический строй, т. е. были революцией. Кроме того, помимо социально-экономических революций бывают революции политические, и события 1905—1907 гг. — это, конечно же, политическая революция, у которой, впрочем, были и социально-экономические «хвосты».

Вообще же, как правило, кратко-, а иногда и среднесрочным результатом революций становится разрушение производительных сил, ухудшение экономического положения значительных по численности слоев, нередко — большинства, т. е. регресс. И это естественно: если революция есть выход из системного

кризиса, его преодоление в условиях краха, развала прежней социальной системы, то, во-первых, этот выход всегда осуществляется за счет кого-то; во-вторых, в потоке кризисно-революционного времени люди выбирают из двух зол — хаос или новый порядок, отличающийся более жестким социальным контролем от старого порядка, более скудным «экономическим рационом» и обладающий своей социальной несправедливостью (например, наполеоновская эпоха и Реставрация во Франции, СССР в 1920—30-е гг. — особенно в описании Ю. Олеси/А. Белинкова: ситуация превращения тибулов и просперо в новых «толстяков»).

А вот события конца 1920-х — начала 1930-х гг. — это, действительно (правы И.А. Анфертьев и А.М. Колганов), — революция, причем вдвойне: 1) она кардинально изменила социально-экономический строй — отношения собственности, власти и социальной организации для основной массы населения и в то же время 2) принципиально изменила положение России/СССР в международном разделении труда, в мировой системе — октябрьский переворот 1917 г. и тем более НЭП к такому изменению не привели. Речь, на мой взгляд, должна в данном случае идти о национальной («национально-имперской») фазе революции (1929—39 гг.), которая пришла на смену интернациональной фазе (1917—27 гг. — аккуратно между «октябрьским» переворотом 7 ноября 1917 г. и попыткой троцкистского путча 7 ноября 1927 г.), став ее отрицанием. Эта же вторая фаза должна была дать окончательное решение крестьянского вопроса, который стоял перед русской властью как минимум с середины XIX в., а по сути раньше, и который не был решен самодержавием.

Речь идет об интеграции крестьян в современное (в нашем случае — системно-антикапиталистическое, т. е. социалистическое) общество и установление социального контроля над ним как над массой населения. Если в столкновении двух революций в 1917—22 гг. — «революции комиссаров» и «революции крестьян» (некоторые участники

дискуссии говорят об «общинной революции» — кавычки вполне уместны) крестьяне как минимум не проиграли; партия была отложена, но в 1929 г. возобновившись, завершилась победой «железных коней» — и «железных наркомов». В известном смысле эта вторая революция завершила, загасила смуту, начавшуюся в широком смысле в 1860-е гг., в узком, если брать только деревню, в 1902 г. И она же стала последним аккордом гражданской войны в России, окончательно «дисциплинировав» (в фукоистском смысле слова) «охлос», превратив «опасные классы» русского общества в «трудящиеся классы» — на это в свое время в «Книге Второй» обратила внимание Н. Мандельштам.

2. К сути дела

Целый ряд мыслей о смуте и революции высказал один из лучших знатоков «красной смуты» и автор одной из лучших книг о ней в русской и зарубежной исторической науке В. П. Булдаков. И, как это часто бывает у больших ученых, в своих рассуждениях о смуте и революции он вышел за рамки этой тематики и затронул важные методологические проблемы, побуждающие к спору. Я не могу согласиться с его интерпретацией феномена революции и смуты, с самим подходом к ним. Впрочем, как говорил мой хороший знакомый Ф. Фехер, именно несогласие делает жизнь стоящей штукой.

Прежде всего отмечу, что Булдаков предлагает две принципиально различные, логически противоречащие друг другу интерпретации различия между смутой и революцией.

Интерпретация № 1: революция связана с современным обществом, с эпохой Модерна, а смута — архаичное явление, т. е. связано с досовременной, докапиталистической эпохой.

Перед нами различие объективное и содержательное.

Но тут же выдается интерпретация № 2. Оказывается, революция — это понятие, которое

используется преимущественно теоретиками и политиками, а смута — это образ, используемый главным образом писателями и художниками; соотношение смуты и революции отражают старые и новые представления (выделено мной — А. Ф.) об истории, связанные с эпохой Просвещения.

Перед нами различие субъективное и функциональное. Здесь смута и революция — не реальности, а образы и представления. При этом если образ «революция» действительно может отражать представления о старом и новом, связанные с эпохой Просвещения, то как это может быть с образом «смута», который появился задолго до эпохи Просвещения? Это — первое. Второе заключается в том, что термин «смута» самым активным образом использовали не только писатели, но и ученые — и, пожалуй, чаще, чем писатели, а термин «революция» активнейшим образом использовался писателями; попытка противопоставить смуту революции по субъекту пользования ими как терминами представляется несостоятельной и надуманной.

Еще больше запутывают аргументацию Булдакова следующие его три пассажа:

1) «...революция — это просто переворот, а смута — это, прежде всего, отсутствие привычного порядка, создающее впечатление тотального хаоса»²⁵.

2) В смутах, считает Булдаков, гипертрофирован эмоциональный момент, а модернизационный приглушен (в революциях, по этой логике должно быть наоборот); здесь сразу же возникает сомнение по поводу логичности и корректности составления пары противоположностей «эмоциональный — модернизационный». Должно быть либо «эмоциональный — рациональный», либо «традиционный — модернизационный». Иначе получается, что в движениях и тем более революциях Модерна не было эмоций — их совершали биороботы, а смуты творились сверхэмоционалами-психопатами, руководствовавшимися инстинктами. Чтобы убедиться в противоположном по обоим случаям, достаточно почитать психологов XX в. о

революциях этого столетия и что угодно по истории русской смуты начала XVII в.

3) В российских смутах результат противоположен задуманному, это насмешка над революционным процессом.

Во-первых, революцию «просто переворотом» считали с 1688 г. (со «Славной революции», породившей этот термин как политический) до 1789 г., когда речь пошла уже о кардинальном системном изменении, а не просто перевороте. Если революция — это «просто переворот», то зачем вообще существует и зачем нужен этот термин? Обойдемся «переворотом».

Во-вторых, если смута — это отсутствие привычного порядка и в таком качестве противопоставляется революции, то значит ли это, что революция как «просто переворот» не предполагает изменения или уничтожения существующего порядка (что, безусловно, выглядит как хаос — история всех революций демонстрирует это со стеклянной ясностью)? То есть на самом деле **в этом плане** различий между смутой и революцией нет.

В-третьих, нет в реальности различия между смутой и революцией по степени эмоционального накала участников. Разве что если кто-то изобрел эмоциемер и исследовал смуты и революции.

В-четвертых, — и это уже логика, — если в смутах столь силен эмоциональный момент, то как же можно утверждать, что в российских смутах результаты противоположны задуманным? Откуда берется задуманное, если гипертрофирован эмоциональный момент, а «модернизационный», т. е. направленный на сознательную модернизацию «приглушен, либо отсутствует вовсе»? В соответствии с данным Булдаковым определением смуты у нее в принципе не может быть **контрпродуктивного** результата; таковой возможен только у революции или, что еще более вероятно, у реформы, но никак не у смуты. Здесь, прежде чем двигаться дальше в анализе дискуссии, я должен предложить собственную трактовку смуты, революции и их соотношения.

В качестве метафоры, образа «смута» может применяться далеко за пределами русской истории как некое “time of trouble” в США 1970-х гг., в Китае XVII в. или в древнем Египте эпохи Переходных периодов. В научном плане, т. е. в качестве понятия «смута» есть термин, отражающий совершенно определенную русскую ситуацию. Суть в следующем. Русская власть носит автосубъектный характер по сути, а функционально стремится к моносубъектности, т. е. к недопущению появления иных властных субъектов. Властный субъект может быть только один-единственный. Появление второго (третьего, четвертого и т. д.) разрушает эту власть и строй, системообразующим элементом которого она является. Смута — это ситуация раздвоения (как минимум) субъекта власти, ввергающая систему в кризис, поскольку в данной системе единственность властного субъекта есть показатель нормы и социального здоровья, *conditio sine qua non* существования системы. Раздвоение — это Шуйский против Лжедмитрия II, Временное правительство против Петросовета, красные против белых, Ельцин против Горбачева, а затем — Верховного Совета.

В буржуазном обществе наличие иных властных (политических) субъектов, чем центральная власть (государство — *lo stato/state*) не ведет к кризису: полисубъектность власти, политическая полисубъектность — норма западного общества эпохи капитализма (XIX — начало XXI вв.) и даже Старого Порядка (XVII—XVIII вв.). Причем эта полисубъектность зафиксирована институционально и ценностно. В России ситуация принципиально иная, а потому все макромасштабные потрясения оборачиваются смутами. Сложность русской истории XX в. в том, что здесь смуты в той или иной степени являются и революциями, будь то 1905—07, 1917—22/27, 1929—33/39 или 1991 гг. (хотя в последнем случае зазор между смутой и революцией исключительно мал, причем в значительной степени благодаря международным факторам).

3. Смута versus революция, архаика versus Модерн

А что такое революция? Революция есть характерный для капиталистического социума или социума, который включен в капиталистическую систему, в котором капиталистический уклад является ведущим, хотя может и не быть доминирующим, способ разрешения кризисных ситуаций, кардинально меняющий социально-экономический и/или политический строй (в соответствии с тем или иным политико-идеологическим проектом — либеральным, марксистским/социалистическим/коммунистическим или консервативным) и положение данного социума в международном разделении труда.

Помимо обычно верно фиксируемого качественного сдвига в отношениях власти и собственности я особо подчеркиваю такую имманентную, сущностную характеристику революций как их проектно-конструкторский исторический характер (субъектный фактор — не путать с субъективным), накладывающийся на системную ситуацию (не путать с «объективным» фактором); другое дело — как реализуется проектно-конструкторский замысел, как он вступает в противоречие с системной реальностью. Проектно-конструкторский характер революций проявляется в наличии организации, финансовой базы, манипуляции информпотоками, а также в наличии внешних союзников (в XX в. без таковых не обходилась ни одна революция, что еще более усиливает ее проектно-конструкторский характер).

Нужно вообще отметить, что в середине XVIII в. произошел «великий эволюционный перелом» (термин А. А. Зиновьева, придуманный им по иному, чем события XVIII в., поводу, но вполне уместный в данном контексте) — история из преимущественно стихийной стала превращаться в преимущественно проектную, конструируемую, и средством конструирования стали в том

числе революции, которые, естественно, невозможно создать, но можно использовать, направить и превратить в революцию антисистемное движение. В результате творчество масс, превращаясь в революцию, может менять конструкторско-проектный замысел или вообще выходить из-под его контроля — Гегель назвал бы это «коварством истории». С середины XIX в. проектное конструирование истории приобретает международный характер — как «слева», так и «справа»; впрочем, несколько видоизменяя Гермеса Трисмегиста, можно сказать: что слева, то и справа — диалектика.

В России проблема соотношения стихийно-антисистемного и проектно-конструкторского — это, с некоторым упрощением, проблема смуты и революции. А еще точнее — проблема революции, победившей смуту и на костях последней (в переносном и прямом смысле слова), а также на костях первой, интернациональной, фазы революции построившей советский (сталинский) Модерн. Модерн квазиимперский по форме, антикапиталистический по содержанию и не имеющий серьезного отношения к архаике, за которую нередко принимают форму, предварительно сведя к смуте всю сложность смутореволюционного процесса и усматривая в русской революции только смутное, архаическое. Такой угол зрения приводит к ошибочному анализу не только революции, но и советского общества.

Трактуя события в России начала XX в. как смуту, т. е. процесс самоорганизации хаоса, Булдаков логично (в рамках своей сетки координат) ставит вопрос: «И во что может в России вылиться революция (особенно «социалистическая») кроме архаизации (в форме внешнего обновления) прежних структур и иерархий?»²⁶. И хотя здесь стоит знак вопроса, ответ автора очевиден. Отсюда логично вытекает еще один вопрос (по сути — утверждение): «Возможна ли вообще революция в России? Может быть системный кризис архаичной структуры в инновационном отношении бесплоден по определению? Если русская смута

— это преимущественно эмоции, то **что** она может дать кроме удовлетворения прихотей, задавленных в застойной жизни?»²⁷.

Таким образом, Булдаков полностью укладывает революцию в смуту, практически растворяет ее в ней, по сути отрицая саму возможность революции в России и трактуя события начала XX в. как смуту, а советское общество как подновленную архаику — прежние структуры и иерархии в обновленной форме. В этих выводах автор «Красной смуты» в соответствии с принципами своего подхода рассуждает абсолютно логично и последовательно. И, по моему мнению, абсолютно ошибочно как с точки зрения теории, так и с точки зрения истории, реальной практики русской и особенно советской истории XX в.

Во-первых, как было показано выше, выводы Булдакова по поводу российских потрясений начала XX в. базируются на принципиальном методологическом неразличении смуты и революции — декларировать отличие смуты от революции не значит обосновать и доказать его. Во-вторых, хотя русские революции XX в. были и смутами, хотя **количественно** «смутный» аспект внешне преобладал, внешне создавал картину разгула архаики, **качественно** (напомню мысль Эйнштейна о том, что мир — понятие не количественное, а качественное), определяющую роль в характере и развитии русских событий рубежа 1910—1920-х гг. играл революционный, т. е. современный, модерновый элемент, связанный с системным отрицанием как капитализма, так и традиционной русской архаики. И то, что в конечном счете этот элемент железным обручем современной организации сдавил и укротил смуту и архаику, используя ее энергию в «антиархаических целях». В данном случае не то важно, что **крестьянин** выбрал большевиков, т. е. левый Модерн, а то, что он **выбрал** то, что ему **предложили**. Предлагавший субъект ставил, решал (и решил) задачи вовсе не архаические и даже не страновые, национального уровня, а более масштабные.

Не буду спорить о том, была ли колхозная деревня обновленной формой дореволюционной архаики: думаю, нет. Но то, что город уже в 1930-е и тем более в 1950-е гг., когда в жизнь вошло поколение советских людей, к тому же переживших абсолютно современную войну — Вторую мировую — не был архаикой в обновленной форме, это очевидный факт. Именно промышленно-городской уклад был ведущим в советском обществе, придавая ему его особые характеристики. По принципу конструкции это было так уже в 1920-е гг., и проницательные люди хорошо это понимали, а если не понимали, то чувствовали:

*Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница.*

(С. Есенин)

Показательно, что по логике своего подхода Булдаков говорит о «коммунистической автаркии», освобождение от которой, по его мнению, якобы пришло с распадом СССР²⁸. Это когда же у СССР была автаркия по отношению к мировому рынку? Даже в 1930—50-е гг. отношение СССР к мировому рынку нельзя назвать автаркией, ну а в период с конца 1950-х гг. интеграция СССР в мировой рынок (экспорт нефти, газа, оружия и много чего другого и импорт тоже много чего) шла по нарастающей. Причем до такой степени, что интеграция в мировой сырьевой рынок сделала СССР уязвимым в середине 1980-х гг., а позиции на мировом рынке в целом были таковы, что та же Тэтчер осенью 1991 г. признала, что опасалась СССР как экономического агента мирового рынка в первую очередь, а как военную угрозу — только во вторую. Это какую же автаркию преодолели с крушением коммунизма, если в 1980 г., обеспечивавший 10% мировой добычи нефти газа советский топливно-энергетический комплекс снабжал сырьем всю Европу — социалистическую и капиталистическую? И хотя доля сложной техники в

экспорте падала (с 20,7% в 1960 г. до 12,5% в 1985 г.), экспортировали и ее. Про экспорт оружия я не говорю. И это автаркия «обновленной архаики»?

Вообще нужно сказать, что тенденция к отождествлению советского типа общества с архаикой, с тем или иным «докапитализмом» в традиционной («азиатский» способ производства, феодализм) или обновленной («нео-») форме в свое время была распространена, особенно среди бывших левых — К. Виттфогель, Р. Гароди и др. У нас активно «архаизирует» советское общество С.Г. Кара-Мурза. Он объясняет кризис СССР 1980-х гг. тем, что советское общество, традиционное, крестьянское по своему социальному архетипу оказалось несовместимо с урбанизацией.

По-видимому, делая такой вывод, певец советской цивилизации не отдает себе отчет в том, что играет на руку своим оппонентам, работает на них, рисуя советское общество в качестве принципиально несовместимого с городским, т. е. современным образом жизни, ограничивая его исторические сроки и бытие аграрной фазой истории и таким образом фиксируя неспособность к развитию. Но мы-то знаем, что это не так, что советское общество 1930—1970 гг. было городским и **развивалось как именно промышленно-городское общество**. Если СССР был обречен самим фактом «аграрного потолка», то зачем, как это делает С. Г. Кара-Мурза, придумывать «антисоветский проект» части советской интеллигенции, который якобы погубил СССР? Налицо противоречие, если не сказать когнитивный диссонанс.

На самом деле причины крушения советского социума как промышленно-городского системно-антикапиталистического общества кроются не в хозяйственной, а в социально-экономической сфере, в базовых противоречиях строя и его системообразующего элемента — номенклатуры, в противоречиях присвоения нематериальных и материальных факторах производства; снятие этих противоречий на пути интеграции части

номенклатуры в мировой рынок и стало причиной крушения системного капитализма и СССР. Поэтому не надо наводить тень на плетень и, акцентируя якобы роль якобы архаики, уводить от реальных факторов и особенностей развития общества. Кстати, показательно, что С. Г. Кара-Мурза и тот же В. П. Булдаков, говоря о советском обществе, не ставят вопрос ни о господствующих группах с их интересами, ни об объектах присвоения этих групп, ни о формах эксплуатации населения, подменяя все это туманными рассуждениями об архаике и Модерне, об эмоциях и удовлетворении прихотей.

Отсутствие теории советского общества, анализирующего его реальные противоречия и адекватно отражающей его собственную природу, логически ведет либо к дешевым генерализациям в духе «компрадорской политологии», либо к интерпретациям, архаизирующим советскую и революционную реальность или, что еще хуже, субъективизирующим и психологизирующим ее. Эти последние суть реакция как на западные схемы, так и на схемы типа «развитого социализма», являются их изнанкой, но ведь изнанка, как правило, хуже лицевой части, какой бы она ни была. От такой «изнанки» остается всего лишь шаг до перевода научного исследования в область тотальной интуиции и озаряющего чувствования. И неудивительно, что именно в таком духе Булдаков завершает свое выступление: «...противостояние понятий смуты и революции имеет глубокую культурно-историческую природу. Из этого следует только одно: исследователь должен мысленно корректировать привычные термины соответственно их историческому наполнению. Продуктивно рассуждать о российской истории можно, только прочувствовав ее культурно-антропологическую “боль”, то есть через постижение смут “изнутри”. В этом смысле социологические абстракции и, тем более, политологические генерализации не только бесполезны, но и опасны»²⁹.

С тезисом о постижении русской истории изнутри как условия ее понимания перекликается тезис С. Ю. Разина о том, что «понять российские смуты и революции можно

только исходя из нашей собственной истории и культуры. Обретение “почвенного”, изоморфного понимания российских смут и революций крайне важно для нашего общества»³⁰. Впрочем, про «боль» и чувства здесь ничего нет.

Спору нет, надо понимать свою историю из нее самой — метод и теории русской истории должны выводиться из нее, соответствовать ее природе, а не навязываться извне в виде идеологем, отражающих чужие и чуждые ценности; схем, отражающих чужие и чуждые интересы и теории, отражающих чужие и чуждые опыт и практику, — я неоднократно писал об этом. В то же время вызывает большое сомнение тезис, согласно которому только прочувствовав культурно-антропологическую боль России, можно понять ее и ее смуты; только чувство приведет нас к пониманию, а не абстракции и теории — эти генерализации бесполезны и опасны.

Так и хочется сказать «чур меня, чур». Или повторить за М. Горьким: «Он пугает, а мне не страшно» (о Л. Андрееве). О том, что «умом Россию не понять» (умом — т. е. теориями), мы уже слышали. От Ф. Тютчева. Но одной веры и чувств мало — именно недостаток ума (хорошей теории, по поводу которой А. Эйнштейн говаривал, что нет ничего практичнее) и избыток чувств, т. е. некоторая чувственная ацефалия является одной из причин исторических поражений России. Еще одна причина — следование тупым западным экономическим, социологическим и политологическим теориям. Так кто же заставляет? И кто заставляет формулировать ложную и не самую умную дилемму: либо чувствовать Россию, либо пользоваться плохими теориями — и то и другое бесполезно и опасно. Нужно разрабатывать теории, адекватные объекту — «пора, пора, е... мать, умом Россию понимать» — эти строки (ответ Тютчеву) представляются мне весьма актуальными. Можно многое почувствовать, но сформулировать почувствованное можно только на языке теории: спор номиналистов и реалистов состоялся в XIV в. и

завершился победой первых, по-видимому, не еще всем об этом сообщили. Можно создавать сколь угодно верные образы, но без и вне теории все это будет роман, а не наука: научный факт есть эмпирический факт, включенный в рамки той или иной теории; вне теории есть только эмпирические наблюдения, за которыми скрывается... плохая теория.

И еще один аспект призывов понимать русскую (китайскую, немецкую, английскую и т. д.) историю, русскую смуту/революцию изнутри, из нее самой, которые я поддерживаю полностью. С одной оговоркой: это необходимое, но не достаточное условие понимания. Как заметил в свое время Б. Ф. Поршнев, изучать историю одной страны невозможно. Даже если это такая огромная страна, страна-мир, как Россия.

Русские смуты и революции невозможно полностью понять вне европейского (евразийского) и мирового системно-исторического контекста. Так, русская смута начала XVII в. была русским элементом кризиса XVII в. — европейского и мирового. Русскую революцию 1917 г. можно адекватно понять только в контексте мировой революционной волны первой четверти XX в., борьбы государств и наднациональных сил. В этой волне было нечто (и это нечто было весьма важным), что характеризовало не столько Россию, сколько мировые тренды. Без этого «нечто» русская революция была бы не революцией, а новой пугачевщиной или в лучшем случае новой русской смутой, результатом которой скорее всего стали бы сермяжная архаика и полуколониальный статус, а не сталинский Модерн, победа в войне, атомная бомба, покорение космоса и статус сверхдержавы.

Аналогичным образом события времен горбачевщины и ельцинщины (1985—96) — «русская» капиталистическая революция — была элементом неолиберальной революции и глобализации 1980—90-х гг., классового союза части советской номенклатуры и западного капитала. Вне того **мирового** поворота, который произошел на рубеже 1970—80-х гг., наложившись на

структурный кризис советского общества и его верхов и позволив части которых выйти из их кризиса путем превращения в капиталистов и разрушения СССР, мы не поймем суть «революции 1991 г.» — сколько ни вчувствуйся и не подвергай себя культурно-антропологической боли; впрочем, все же лучше без мазохизма.

В сухом остатке: преодоление русской архаики и ментальной анархии требует серьезной работы в области теории — теории русской истории и теории мировой и евразийской систем, элементом которых была и остается Россия и на стыке которых возникали такие явления как русские революции XX в., советский коммунизм и уродоц-социум на территории бывшей РСФСР.

Понятно, что в условиях провинциализации научной мысли в современной России, оборачивающейся детеоретизацией знания и заглатьванием чужого интеллектуального мусора, особенно в сферах политологии и социологии, это трудно сделать. Но другого пути нет.

4. Смуты и революции — рычаги, пружины и блоки

Участники дискуссии называют различные факторы, блокирующие или, напротив, ускоряющие смуту. Так, В. Д. Соловей согласен с мыслью Дж. Голдстоуна о том, что «государства, пользующиеся поддержкой сплоченной элиты, в целом неуязвимы для революции снизу»³¹. Н. В. Асонов, напротив, подчеркивает значение поддержки власти со стороны народа как фактор, позволяющий не допустить смуту. Историк фиксирует, что благодаря опричнине Ивану Грозному удалось «подавить деструктивную оппозицию в лице “полужидовствующих”, политическая идеология которых ставила целью разрушение православной государственности в России; “нестяжателей”, вставших на позиции “терпения” и “кротости” в отношении “развратников веры христовой”; сторонников удельно-княжеской управленческой модели, мечтающих вернуть

власть великим родам, а также приверженцев республиканско-вечевых традиций, Московское государство не только избежало раскола и более кровавых религиозных войн, поразивших западноевропейский мир, но и сохранило себя в качестве оплота славяно-православной цивилизации, обеспечив ее последующее выживание»³². Решающую роль в этой блокировке смуты Асонов отводит не царю, а народу, который принял курс самодержавной соборности и понял значение опричнины как вынужденной временной меры.

Думаю, сегодня трудно сказать, понял ли народ «опричнину» как чрезвычайку и размышлял ли он в таких категориях, — скорее всего, нет. Но то, что народ действительно воспринимал курс Грозного как соборный и поддерживал царя против «утеснителей-бояр», сомнения не вызывает, иначе страна взорвалась бы не в 1600-е, а в 1570-е гг. Более того, именно опричнина заложила фундамент тех институтов, которые так и не удалось разрушить в смуту предателям-боярам, возводившим на престол Владислава и мастырившим свой княжеско-олигархический строй, и которые полностью восстановились к середине XVII в. На прочность государственных институтов, созданных в XVI в., указывает и Д. В. Лисейцев, подчеркивая, что российская государственность не только не была разрушена смутой, но именно эта прочность способствовала преодолению смутного времени³³.

И главное — опричнина не вызвала системного кризиса и не довела противостояние власти и народа до крайней точки, а, как справедливо отмечает В. П. Булдаков, смута/революция не состоится, пока системный кризис не достигнет своего апогея, приняв форму открытого противостояния народа и власти³⁴.

Впрочем, некоторым участникам дискуссии вопрос о народе как субъекте смуты/революции представляется не таким простым, как кажется на первый взгляд. Например, А. В. Чертищев отмечает, что в 1917 г. действовали не классы, а массы³⁵, причем люмпенизированные, маргинализированные³⁶, короче — толпообразные. Это,

кстати, перекликается с мыслью В. П. Булдакова о том, что поскольку российская история не создала устоявшихся структур и этнических общностей, смута непременно примет охлократический характер³⁷. Правда, здесь возникает вопрос к Булдакову: китайская и французская истории создали устоявшиеся структуры и этнические общности, но рискнет ли кто-либо утверждать, что в революциях в этих странах не было охлократии? И вопрос к Чертищеву, который считает низкий культурно-образовательный уровень фактором, способствующим превращению масс в объект манипуляции. А разве события перестройки и послеперестроечное десятилетие не продемонстрировали, что и население с достаточно высоким культурно-образовательным уровнем легко превратить в манипулируемое стадо? Думаю, все мы помним это время и поведение многих наших коллег из «ученого цеха».

Рассуждая о механизме возникновения предпосылок революций, нельзя не согласиться с В. П. Булдаковым, М. И. Ильеховым, А. М. Колгановым в том, что эти предпосылки создаются прежде всего господствующим слоем. «Несомненно, что смуты провоцируются верхами, не умеющими адекватно реагировать на внешние вызовы, — пишет Булдаков³⁸ (я бы добавил: и внутренние). По мнению Ильехова, революцию провоцировала косная правящая элита. И далее: «...революцию готовят и делают не революционеры, а “олигархи” разной социальной принадлежности»³⁹. (Как тут не вспомнить Л. Д. Троцкого с его фразой о том, что настоящие революционеры современного мира сидят на Уолл-стрит; Троцкий имел в виду Фининтерн.) Ильехов приводит весьма интересную и точную, на мой взгляд, характеристику одним немецким публицистом деятельности П. А. Столыпина: «Столыпин сделал все для подавления революции прошлой, но очень мало для предотвращения революции будущей». Я бы сказал более: Столыпин своей реформой сделал немало для приближения будущей революции.

Впрочем, вряд ли можно предъявлять исторический счет одному Столыпину. Он был выдающимся представителем определенной властно-классовой системы, которая на рубеже XIX—XX вв. загнала себя в цугцванг. У этого цугцванга было два аспекта. Важную черту первого отметила Ю. А. Жердева, зафиксировавшая коллапс крестьянского патернализма имперской системы: «неразрешимое “мирным” путем противоречие между стремлением российской императорской власти сохранить крестьянство как субъект⁴⁰ патерналистской опеки государства... и непреодолимыми требованиями индустриально-городской культуры, требовавшей ликвидации крестьянства в его традиционном понимании»⁴¹. Не будучи способной решить вопрос в интересах крестьянства, и в то же время ликвидировать этот слой, императорская власть тормозила его решение, откладывала — и дооткладывалась, получив крестьянские вилы в бок.

Иными словами, речь идет о том, что логика развития промышленно-городского общества, капитализма требовала ликвидации крестьянства как слоя, что и сделал советский режим в 1929—33 гг. А вот позднее, хотя противоречия между ним и крестьянством нарастали, самодержавие сделать этого не могло в силу своей классовой и властной природы. Как тут не вспомнить А. А. Зиновьева, заметившего как-то, что самое страшное — это власть народа над самим собой, ничем не опосредованная, прямая. Т. е. барин мужика может пожалеть, а мужик мужика вряд ли; с такой мыслью вполне мог согласиться Н. С. Лесков, она проходит красной нитью сквозь его произведения, достаточно вспомнить «Тупейного художника».

Второй аспект заключается в том, что самодержавие не могло разрешить проблему не только «треугольника» «самодержавие — крестьянство — капитализм», но и треугольника «самодержавие — дворянство — буржуазия», будучи не в силах разорвать ни с дворянством ради буржуазии, ни с буржуазией ради дворянства — эту

проблему решили большевики, взорвав систему позднесамодержавного Тянитоля.

Эквивалентно сравнимая с положением в России начала XX в. складывается ситуация сегодня, сто лет спустя. Власть, с одной стороны, не может отделить себя мирным путем от «олигархов» (из этой же «оперы» решение проблемы коррупции как системообразующего, по признанию самой власти), с которыми образует корпорацию-государство; подобного рода попытка возможна лишь как результат введения чего-то похожего на неопринципу. С другой стороны, власть не может отказаться от сохранения населения в качестве объекта квазипатернализма. Во-первых, поскольку это население своей хозяйственной и социальной деятельностью удерживает экономику от серии техногенных катастроф, а социум — от хаоса; это одна из его главных, хотя и не прокламируемых функций в системе — техногенные катастрофы и хаос автоматически ломают систему извлечения прибыли и властвования. Аналогичным образом коллективы институтов в системе РАН сохраняются **отчасти** для физического наполнения и поддержания функционирования материальных объектов собственности как важнейших активов для реализации групповых и опять же отчасти государственных интересов — например, в качестве госгарантий при получении международных займов. Во-вторых, население — какой-никакой электорат, и хотя опора власти — не все население, а население определенных регионов страны, определенная численность для содержания «зоны охоты» (М. Б. Ходорковский), явки на выборы, а в случае необходимости — демонстрации Западу некой массы со своими интересами, необходима.

Возникает треугольник «власть — «олигархи» — население», проблемы которого мирным, эволюционным путем неразрешимы при том, что развитие ситуации в стране и мире требует скорейшего решения, которое власть тормозит, оттягивает. Результат, похоже, может быть таким же, как в 1917 г.

К факторам, работающим на революцию, следует добавить разложение системы управления, тесно связанные с этим коррупцию и непрофессионализм управленцев. Об этом состоянии Российской империи на рубеже XIX—XX вв. писали многие, в том числе весьма ярко и красноречиво Н. Е. Врангель в своих воспоминаниях. Эти черты и особенности позднеимперской России полностью, причем в гротесково-фарсовом виде воспроизвелись Белым движением в зоне его контроля. «Все характерные черты “второй русской смуты”, — пишет С. В. Карпенко, — проявились в истории Белого движения. Среди них — управленческая анемия “верхушки” Белого движения, вспышка частного и корпоративного эгоизма, деморализация в среде бюрократии и буржуазии и т. д.»⁴². Т. е. перед нами недееспособность власти и части общества (верхов), их неадекватность в реагировании на эти факторы как причины обеих смут — начала XVII в. и начала XX в. — указывает в своем выступлении В. В. Шелохаев⁴³.

Частный и корпоративный эгоизм, деморализация бюрократии и буржуазии, коррумпированность верхов — все эти характеристики позднеимперской и Белой России вполне применимы к РФ, словно списаны с ее реалий. И не случайно ряд участников дискуссии, размышляя о смутах и революциях, затронули наши дни.

Так, А. И. Селиванов подчеркнул, что смутные времена продолжаются и в наши дни, образ благоденствия в России — всего лишь симулякр реальности, сформированный политиками и СМИ; в то же время, предупреждает участник дискуссии, не надо скатываться в деконструктивность эмоционально-панических настроений⁴⁴.

Причину нынешних смутных времен Селиванов видит в разладе народа и власти, в расхождении интересов народа (страны, цивилизации) с интересами власти, элит и других групп, влияющих на принятие государственных управленческих решений.

С одной стороны, угроза российской государственности, отмечает Селиванов, исходит от многих представителей власти в стране, это «коррупцированные чиновники, представители крупного отечественного капитала, ставшего внешнеэкономическим, криминальные структуры, различные этнические и общественные группы и слои, не несущие в себе российских ценностей, большинство СМИ»⁴⁵. С другой — силы и субъекты, находящиеся за рубежом: зарубежные политические и финансовые центры, ТНК и МНК, чьи интересы по отношению к России в целом совпадают с интересами российских коррупционеров и компрадоров и обслуживающих их представителей медийных и научных структур.

Селиванов верно указывает на классовый и антицивилизационный по отношению к российской цивилизации блок внешних и внутренних сил, который можно назвать «либерально-интернациональным». Этот термин — не мое изобретение. Им активно пользуется «тихая американка» британского происхождения Фиона Хилл (в настоящее время — директор Центра США и Европы Института Брукингса, до этого — руководитель секции по России и Евразии в Национальном Совете по разведке США). Как отмечает А. Левченко, в свое время Хилл курировала подготовку двух аналитических докладов — «Альтернативные сценарии развития России до 2017 года» и «Стратегия США на Кавказе и в Черноморско-Каспийском регионе». Наиболее желательным для США сценарием Хилл считала приход к власти в РФ «либеральных интернационалистов» во главе с Немцовым, Явлинским, Каспаровым и Ходорковским. В докладе констатировалось, что победить в РФ конституционным путем у либерал-интернационалистов шансов практически нет, в связи с этим не исключался их приход к власти с помощью цветной революции.

За исключением Ходорковского все остальные либерал-интернационалисты — фасад либерального клана «старосемейных» — засветились на Болотной и на Сахарова.

Кстати, сегодня правые глобалисты (они же либерал-интернационалисты) в блоке с западным финансовым капиталом пытаются сделать с РФ то, к чему в 1920—30-е гг. в союзе с Фининтерном стремились левые глобалисты, и что им не позволил красный имперец Сталин. Сейчас вопрос стоит аналогичным образом: Россия — либо сырьевой элемент глобальной системы, либо импероподобное образование, противостоящее этой системе в союзе с другими импероподобными образованиями.

5. Забытый внешний фактор

К сожалению, тема внешнего фактора в русских смутах практически не получила звучания в дискуссии. Ее походя, вскользь и не самым удачным образом, коснулся только один из участников дискуссии — М. И. Ильюхов. Он заметил, что тезис об английском следе в февральско-мартовских событиях ошибочен, поскольку англичанам как союзникам в шедшей войне не надо было дестабилизировать Россию⁴⁶. Трудно сказать, чего здесь больше — наивности, незнания реальных фактов или недостаточного их осмысления. Тезис о том, что, поскольку Россия — союзник британцев, то они не заинтересованы в ее дестабилизации, типологически напоминает мне рассуждения, услышанные мной от одного деревенского дедка. Говорил он (это был 1981 г.) следующее: «Рейган — артист, поэтому он с нами (СССР) ссорится не будет, артисты — мирные люди». Ну а если серьезно, то посмотрим на военную ситуацию в декабре 1916 — январе 1917 гг. Союзникам было ясно: Германия истощена, война выиграна, даже если она продлится еще год, Германия перешла к стратегической обороне, русские планируют Босфорскую операцию на март-апрель 1917 г., и тогда взятие ими Константинополя, контроль над Проливами и свободный выход в Средиземное море станет *fait accompli*. Т. е. Россия силой подкрепит и так обещанное союзниками, прежде всего британцами, и этого уже не отыграть. Но — не отыграть, если Россия останется среди победителей, если не ослабевает резко или вообще не

развалится, перестав быть организованной геополитической целостностью.

В 1934 г. канцлер Венгрии граф Иштван Бетлей заявил: «Если бы Россия в 1917 году осталась организованным государством, все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями. Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София выполняли бы волю русских властителей. В Константинополе на Босфоре и в Катарро на Адриатике развевались бы русские военные флаги».

Возможно, дунайские страны и не стали бы областями России, а лишь превратились бы в зону ее влияния, как это произошло после и в результате Второй мировой войны — и этого вполне достаточно. Главное в другом — в выходе России в Средиземноморье и Центрально-Восточную Европу. Напомню, что именно ради недопущения этого британцы затеяли Крымскую войну, именно ради недопущения русского щита на вратах Царьграда впопыхах организовали в апреле 1915 г. Галлиполийскую операцию по захвату Дарданелл и Стамбула — чтобы потом не пустить туда русских (сорвалось — операция, организованная Черчиллем, провалилась).

В 1917 г. возникла реальная угроза не только восстановления геополитических позиций России в духе времен Николая I, но и существенного усиления их. Ясно, что допустить этого британцы не могли. Ну а в условиях грядущей победы и возможного вступления в войну США (и в любом случае при наличии помощи с их стороны) такой потребности в России, как в 1914—15 гг. уже не было. Отсюда задача: вычеркнуть Россию из числа победителей. Сделать это можно было единственным способом — резким ослаблением или даже разрушением России, что существенно ослабляло сделочную позицию России по отношению к союзникам. Ну а если к власти в России некие силы приходили при помощи союзников, прежде всего британцев, то поддержки этого прихода было достаточно в

качестве платы за участие России в войне, в качестве средства геополитического размена уже без всяких территориальных призов — *tout simplement*. Ну а дальше возможны манипуляции новичками от власти — так оно и вышло.

Разумеется, без наличия внутренних сил, готовых к дворцовому перевороту (который и открыл «кладезь бездны») — высшего генералитета, руководства кадетов и октябристов, части буржуазии и даже части царской семьи — все это было бы невозможно. Но мы в данном случае говорим, во-первых, о наличии британского интереса в дестабилизации России, он не только мог, но должен был быть — и был. Союзники поощряли заговорщиков — об этом немало свидетельств. И В. И. Ленин был абсолютно прав, написав: «Весь ход февральско-мартовской революции показывает, что английское и французское посольства с их агентами и “связями”... непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно для смещения Николая Романова».

Не нравится Ленин? Не верится ему? Ну что же, послушаем генерала Жанена — главу французской военной миссии в Петрограде. Генерал рассказал, как ему докладывали о том, что британские агенты платили солдатам запасного Павловского полка (Павловский полк, конечно, не Волынский, где служил фельдфебель Кирпичников, но свою роль в событиях он сыграл — и весьма немалую) по 25 руб. только за то, чтобы они не покидали казарм и отказывались подчиняться офицерам. Это столько, сколько в конце XIX в. в Петербурге брали за ночь высококлассные шлюхи; разумеется, к 1917 г. рубль просел, но 25 руб. все равно оставались деньгами.

Наконец, последнее по счету, но далеко не последнее по значению соображение — очень простое. Неужели можно помыслить, что серьезный, хорошо продуманный и осуществленный в несколько этапов в течение 10 дней (23 февраля — 4 марта) **во время войны** заговор был возможен

без одобрения и поддержки союзников, прежде всего британцев?! Это просто невозможно. Показательно, что человек, сыгравший решающую роль в заговоре и дальнейшей дестабилизации России — А. И. Керенский — в октябре 1917 г. будет вывезен именно на специально присланном крейсере «Генерал Об» британцами и именно в Лондоне окончит свои дни, чуть-чуть не дотянув до 90-летия. Ему повезет меньше, чем другому разрушителю России/СССР Горбачеву — этому плохишу буржуины отметят 80-летие, причем тоже в Лондоне — в городе, куда он ездил на смотрины западной верхушки перед тем, как занять кресло генсека (ведь сказала впоследствии М. Тэтчер: «Это мы сделали Горбачева генсеком»).

Во время кризисов (смут, революций), т. е. во время разбалансировки системы она приобретает характер открытый или, как минимум, полуоткрытый (впрочем, и этого достаточно, поскольку в кризисных ситуациях первой рушится подсистема защиты — безопасность, ведь именно в ней сконцентрированы все слабости и пороки системы, а следовательно, и их персонификаторы). В системе, открытой иным, в том числе и более крупным системам в условиях кризиса возникают хаотические колебательные процессы, которые невозможно объяснить только внутренними регулярностями — резко увеличивается мощь внешних воздействий, которые, если речь идет о кризисе социальных систем, могут быть результатом целенаправленной деятельности внешних сил. Строго говоря, в открытой слабосбалансированной системе различие факторов внутренних и внешних (равно как каузальности — случайной и необходимой) стирается или становится всего лишь пунктирным. В таких ситуациях субъектный фактор может доминировать над системными (не путать с «субъективными» и «объективными» факторами: субъектный и системный факторы в равной степени объективны), а наилучшие шансы в борьбе, как правило, имеют «внутренние» Властелины Хаоса с хорошей «внешней» подпиткой, если не поддержкой.

Повторю, жаль, что в дискуссиях о смуте и революции в России не был масштабно затронут вопрос о роли внешнего фактора — как в сфере тайной политики, т. е. формирования тайных союзов бояр/чиновников/номенклатуры с западными государствами, наднациональными структурами и капиталом, прежде всего, финансовым, так и прямой интервенции. Все русские смуты включали интервенцию: первая и вторая — военную, последняя — финансово-информационную, с помощью которой советский сегмент глобальной корпоратократии и разрушил СССР. Но это была интервенция в новой форме, поскольку решающие способы разрушения социальных систем и государств в конце XX в. приобрели финансово-экономический и информационно-психологический характер. Действие этих сил и факторов продолжается до сих пор, то затихая, то усиливаясь и таким образом работая на продолжение смуты, на перевод ее в русло развала теперь уже РФ. Собственно, А. И. Селиванов назвал эти силы.

6. Интервенция 1990-х: правовая, партийно-политическая, идеологическая

Интервенция может быть не только военной или финансово-информационной, но и правовой, причем с весьма тяжелыми последствиями. Этот вопрос затрагивает С. В. Ткаченко, демонстрирующий, сколь разрушительным для государственно-правовой системы страны, а следовательно, дестабилизирующим власть, может быть внедрение чуждой правовой системы. Он отмечает, что в 1990-е гг. у нас объем заимствований из западного права приобрел такие масштабы, что еще никогда до этого не носил столь разрушительного характера для российского правосознания; этот перенос западного права Ткаченко называет самой настоящей юридической эпидемией. Нынешняя правовая система, пишет он, «в принципе не отвечает интересам большинства российского населения, отлучив его от реального участия в политической и экономической жизни страны»⁴⁷. Так для того и

переносилось западное право, добавлю я, чтобы отсечь бóльшую часть населения от «общественного пирога» — и отсекли, причем во всем бывшем европейском соцлагере. Если в 1989 г. в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, за чертой бедности жили всего 14 млн человек, то в 1996 г. всего за одну пятилетку ельцинщины эта цифра выросла до 168 млн!

Результатом переноса западного права стало, считает Ткаченко, закрепление Конституцией РФ создания своеобразных политико-правовых уродцев, состоящих из разноплановых по своему характеру «иностранных правовых институтов, плохо подогнанных друг к другу, не приспособленных к российским условиям и способных отрицательно влиять на возможный процесс модернизации государства и общества в целом. Так, при построении “правового государства” государственной властью создан западно-русский правовой гибрид “президентская монархия”, который характеризуется феноменом “передачи власти”. К настоящему времени стало очевидно, что институт не привел для государственности к положительным результатам. Конечно, он вполне справился и продолжает справляться со своей основной задачей — окончательное закрепление власти за определенной политической силой, что, в принципе, и являлось основной задачей правовых реформ 90-х годов»⁴⁸. Нынешняя государственно-правовая система, заключает Ткаченко, работает только в пользу правящей элиты, но не в пользу российского общества в целом, т. е. противоречит национальным интересам России.

Если С. В. Ткаченко считает чуждыми русской реальности и вредными для нее заимствованные с Запада правовые нормы, то С. Ю. Разин аналогичным образом оценивает партии, формально скроенные по западному образцу, и сам феномен многопартийности⁴⁹. Многопартийность и партогенез в истории России Разин прочно увязывает с ее кризисным ритмом: «Российскую многопартийность следует рассматривать как один из

важнейших элементов и признаков российской смуты. Само ее (многопартийности. — А. Ф.) существование противоречит глубинным ментальным основаниям Российской Идеократии. И в начале, и в конце XX в. она сыграла разрушительную роль политической и идеологической антисистемы, которая отнюдь не являлась олицетворением так называемых альтернатив развития социума, а воплощала в себе различные способы уничтожения отжившей свой век исторической формы российского имперства»⁵⁰. Разин цитирует мысль Булдакова о том, что российская многопартийность — воплощение доктринальной шизофрении интеллигенции, а не национального целого; но это воплощение способно провоцировать смуту. И вывод Разина, с которым не могу не согласиться: «Возрождение Империи в ее новой форме... неминуемо приведет к ликвидации аморфной отечественной многопартийности»⁵¹. Иными словами, многопартийность в российском социуме есть мера его кризиса, «смутности» и властного регресса. Это — внешний и чуждый по отношению к культурно-исторической сути России феномен, а точнее — эпифеномен.

По справедливому мнению П. П. Марченя, аналогичными качествами внешности и чуждости характеризуются вестернизированные либерально-демократические идеологемы: они являются внешними по отношению к социокультурным кодам массового сознания населения России⁵², и оно отвергает их как чуждые. Главный урок смут Марченя видит в том, что они ясно показывают, какой **не** должна быть власть, демонстрируют народный негативизм по отношению к чужой и чуждой власти⁵³. Во время первой смуты русские отвергли антидержавные прозападные действия элит, а во второй снесли романовскую империю, а затем либерально-демократические декорации и их персонификатора — Временное правительство, этого «самозванца, коллективного Лжедмитрия», а большевики лишь инструментализировали стихию масс⁵⁴.

Исходя из такого подхода, Марченя убедительно аргументирует тезис о том, что русский бунт — беспощадный, но вовсе не бессмысленный, а смута — это не infernalная череда, которую иные стараются объяснить эпилептоидностью и психопатологичностью *Homo rossicus*'а; все это вполне рационально и функционально вписывается в имперский контекст. Смуты в интерпретации Марченя суть периоды своеобразной «переоценки ценностей» в имперской истории; эта переоценка связана с обновлением комплекса идеологием⁵⁵ и сначала разрывом, а затем восстановлением единства между Народом и Властью. Разумеется, если эта Власть и ее идеологемы не чужды и не враждебны народу, а воспринимаются им как свои, в данном случае — имперские.

Марченя считает неслучайным воспроизводство в 1930-е гг. имперской по сути модели единения власти и народа, поскольку эта модель соответствует национальным и цивилизационным кодам. А вот западные прагматичные менеджеры, — пишет он, — это не стиль исторической русской власти, и они никогда не будут привлекательны для народа, чающего Воли и Идеи.

7. Воспоминания о будущем, или Что день грядущий готовит строю «наемных менеджеров»

В связи с этим возникает вопрос о будущем режима «западных прагматичных менеджеров» — или менеджеров, как говорят у нас. Этим вопросом задается В. Д. Соловей в выступлении на круглом столе⁵⁶ и в обобщающей статье «Есть ли будущее у русской революции», которая, по иронии, идет следом за статьей Б. Ф. Славина «Революция не завершилась».

Он выделяет пять условий революции:

- 1) финансовый кризис;
- 2) делегитимация государства;
- 3) раскол в элите;
- 4) массовая мобилизация;

5) связь революционной мобилизации общества с элитой, т. е. с выступлениями элиты против режима.

Этих условий в реальности, какой она была в России в 2009 г., Соловей не находит и заключает: фундаментальные структурные факторы революции отсутствуют, что не отменяет возможности масштабного государственного кризиса⁵⁷, вероятность которого повышается в случае экономического кризиса.

Кризисные явления в экономике, считает В. Д. Соловей, и так поставили под сомнения обе стороны дуалистического режима В. В. Путина, который к обездоленным обращен патерналистской риторикой, а глазам преуспевающих предстает как менеджер миллионов⁵⁸. Однако и это, по мнению Соловья, не подталкивает Россию к революции, поскольку общество в витальном плане слабее элиты: если царская и позднесоветская элиты были слишком старомодны и размягчены по сравнению с обществом, то постсоветская элита является более современной, более динамичной и жесткой, чем общество.

Внешне точка зрения Соловья кажется верной. Однако есть нюансы и детали. Во-первых, его оценка носит импрессионистский характер — никто еще не изобрел измеритель витальности; к тому же витальность — штука не постоянная: сегодня она больше, завтра — меньше. Казавшееся спокойным в середине 1780-х гг. французское общество в 1789 г. вспыхнуло так, что мало не показалось. Кроме того, для революции вовсе не надо, чтобы все общество было витальным, достаточно ударных социальных групп, которые, кстати, в условиях кризиса могут возникать стремительно. Весной 1917 г. над ленинским «есть такая партия» смеялись, а осенью уже было не до смеха. Я уже не говорю о том, что кабинетно-интеллигентские представления о состоянии общества, особенно по части его витальности, весьма нередко ошибочны, поскольку абсолютизируют состояние определенного социального слоя

и переносят его на группы с иной социальной (и даже биосоциальной) природой.

Во-вторых, конкретные исследования не подтверждают тезис Соловья. Как показало исследование UBS AG (крупный международный швейцарский банк) и Campden Media, 90% предпринимателей РФ, оборот компаний которых составляет более 100 млн долл., не планируют передачу своего бизнеса своим детям; в 2009 г. 84% респондентов видели перспективы развития бизнеса, в 2011 г. — только 40%. Я согласен с теми аналитиками, которые видят в этом разрушение механизмов наследия материальных благ и статуса в крупном российском бизнесе и утрату более чем половиной его представителей перспектив развития. Это — со стороны элиты. А теперь со стороны населения. Согласно докладу «20 лет реформ глазами россиян» (Институт социологии РАН) 34% жителей РФ (и 60% жителей Москвы) **постоянно** испытывают желание перестрелять всех взяточников и спекулянтов, а еще 38% жителей РФ **иногда** имеют желание перестрелять указанных гадов. 70% русских и 60% нерусских испытывают неприязнь к людям других национальностей, а 40% одобрили бы насильственное выселение представителей других национальностей. Разумеется, намерение еще не означает дело, но история, особенно русская, показывает, что подобные намерения в определенной ситуации быстро и легко превращаются в конкретные действия, весьма витальные.

Наконец, последнее здесь. Витальность первого поколения элиты РФ не означает автоматически витальности второго поколения; к тому же здесь мы видим немало признаков вырождения, психопатологии, ацефалии и дегенеративизма. А с другой стороны, есть такая неэлитарная витальная часть населения, как криминалитет. Я согласен с точкой зрения тех аналитиков, которые считают, что в РФ бизнес-верхушка обладает слабой волей к сопротивлению и имеет плохие перспективы социального воспроизводства перед лицом готового к насилию над ней, к

экспроприации. Кстати, такой вариант совпадает с одним из мировых трендов — на конфискацию «молодых» денег. Так что с витальностью элиты и невитальным населением вопрос очень и очень спорный.

В-третьих, как показывает реальность, острая социальная борьба низов и верхов может развиваться в иных формах, чем революции, и в иных сферах. В качестве иллюстрации могу привести фильмы «Бригада» и «Елена». Разумеется, те формы социального конфликта, которые мы в них увидели, далеки от революционности, а вот те формы субъектности, которые показаны там, при определенных обстоятельствах, элементарно оборачиваются витальностью (см. также «Дубровского» Пушкина).

Витальная слабость общества, считает Соловей, есть отражение состояния демографического упадка русского этноса⁵⁹, сегодня у него нет той социобиологической основы, которую имела революция, большевистская модернизация и которая была ключевым ресурсом Великой Отечественной войны, а именно — огромная масса людей в возрасте до 20 лет⁶⁰. Кстати, такой подход вполне логично объясняет значительный процент в постсоветских верхах нерусских — евреев, выходцев с Кавказа и из Средней Азии. В любом случае перечисляемые Соловьем факторы — низкий энергетический уровень постсоветского общества, его плохая психическая форма, социальные патологии⁶¹ — делают, по его мнению, революцию маловероятной.

Аналогичный прогноз дает А. М. Колганов: российское общество в его нынешнем состоянии может существовать еще 15—20—25 лет, и только приход нового поколения обострит конфликт⁶².

Думаю, Колганов — большой оптимист. 10 лет для нынешней России — это более чем оптимистичный прогноз, да и для мира в целом в его нынешнем состоянии — «кто не слеп, тот видит», как говаривал один крупный деятель нашей истории. Кто не слеп, не может не видеть, что по сути уже проедено материальное наследие советской эпохи; кстати, все серьезные изменения происходили в русской

истории тогда, когда проедалось наследие предыдущей эпохи — удельно-ордынской к 1565 г. (введение грозненской опричнины) и российско-имперской — к 1929 г. (начало сталинского «великого перелома»). На сегодня исчерпана та экономическая модель, в рамках которой РФ существовала последнее десятилетие: цены на нефть растут, а доходы населения нет — социальные и коррупционные издержки налицо. «Куда ж нам плыть?». Неясно. Но что плыть в прежнем режиме недолго — это со всей ясностью продемонстрировали события декабря 2011 — февраля 2012 гг., как бы к ним ни относиться. Что же касается нового поколения, то оно уже пришло, будем надеяться, не как нечто неприличное из анекдота, заявившее о себе скромно: не толстый, а полный — вот и пришел. Впрочем, эти темы выходят за рамки обозреваемой дискуссии, и здесь я ставлю точку.

Завершая, отмечу, что дискуссия была весьма интересной и умной, ее организаторов надо поблагодарить и поздравить, хотя не обошлось и без ложки дегтя. Ю. М. Антонян исполнил «песню русофобского гостя» в духе ненавистников России à la Бжезинский, политический спекулянт на исторические темы Янов и Новодворская в одном флаконе. Антонян утверждает, что власть в России в 1917 г. «захватила орда варваров и преступников», «безграмотная клика», а «революция развязала силы зла». Ну а дальше — хоть стой, хоть падай: «на долгие годы было остановлено экономическое развитие общества», «без интеллигенции страна скатилась в каменный век». «Каменный век» — это, по-видимому, об успехах СССР в 1930-е годы и позднее.

Затем следует обвинение коммунистического режима в том, что сотрудничая (sic!) с гитлеровским нацизмом, сверг страну в войну, к которой СССР не был готов. Этот пассаж порадует многих ненавистников России, которые стремятся возложить равную вину за развязывание Второй мировой войны на Третий рейх и СССР и приравнять

фашизм к коммунизму; кстати, Антонян прямо говорит: коммунизм и фашизм — одно и то же⁶³.

По вопросу о неготовности СССР к войне можно рекомендовать Ю. М. Антоняну работы последнего десятилетия, в частности «200 мифов о Великой Отечественной войне» А. Б. Мартиросяна и целый ряд других работ последних лет. Поражения летних месяцев были связаны не с неготовностью, а совсем с другим. И еще вопрос: какая из европейских стран была готова к нападению Гитлера?

Большевизм, который Антонян ненавидит (обычно такой ненавистью пышут либо бывшие члены КПСС, либо бывшие сексоты КГБ — но я, разумеется, ничего не утверждаю), объясняется им с точки зрения психоанализа и аналитической психологии — как прорыв инфантильного бессознательного, именуемого Тенью (почему не гаррипоттеровским Волдемортом или Завесой Мрака из толкиновского «Властелина Колец» — было бы круто). Кроме большевизма виноваты у Антоняна народ и православие («идеология большевизма как нельзя более полно совпадала с идеологией русского православия»⁶⁴). Народ — тем, что оказался не готов к свободе⁶⁵, а православие — своим сходством с большевизмом, а также тем, что в отличие от протестантизма, который, по-видимому, нравится Антоняну, не стимулирует частную инициативу, т. е. не ведет к капитализму.

Вот ведь православно-русское дурачье, не ведают о капиталистическом счастье — жаль, не случился вовремя «мудрый» Антонян, не указал дорогу, не переформатировал русское сознание. Ничего не поделаешь. А вот организаторы конференции поделаться могут: приглашать выступать только адекватных людей, способных аргументировать свою позицию и, самое главное, без теней в голове и без склонности к кликушеству.

В целом, повторю, дискуссия прошла на высоком научном уровне и представляется мне событием не только в научной, но и в общественной жизни. В ней четко

зафиксирована гражданская, государственно-патриотическая позиция подавляющего большинства участников дискуссии, пытающихся дать ответы на главные вопросы русской истории. Хочу надеяться, что дискуссия, вызвавшая изложенные выше размышления — лишь начало большего разговора о русской истории и ее переломах. Это своевременный разговор, ведь «век вывихнут», и чтобы понять, как его вправлять, надо осознать, почему и как он был вывихнут, и что (или кого) для этого нужно вывихнуть.

Важно, чтобы мы сами дали ответ на важнейшие вопросы нашей истории, поскольку в последние два — два с половиной десятилетия различные «доброхоты» извне и их «шестерки» у нас пытаются, превратив нас в цивилизационную мишень, навязать нам такие ответы, из которых следует, что вся наша история — неправильная и все, что нам остается делать — это каяться, а покайсявись за то, что мы есть, бежать, задрать штаны, за Западом (который сам летит в пропасть). Упаси Бог от билета на западный «Титаник», укрепи в самостоянии мысли и ясности видения. В науке это достигается только с помощью правильной теории, помноженной на гражданско-патриотическую позицию и национальную гордость. Иных вариантов нет.

Библиография и примечания

¹ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. «Народ и власть в российской смуте»: прошлое и настоящее системных кризисов в России // Вестник архивиста. 2010. № 3. С. 288—302.

² См. также: Марченя П. П., Разин С. Ю. Народ и власть в русской смуте: «Вилы» и «грабли» отечественной истории // Обозреватель—Observer. 2010. № 7. С. 96—103.

³ Народ и власть в российской смуте: Сб. науч. ст. участников Междунар. круглого стола / Под ред. П. П. Марченя и С. Ю. Разина. М.: ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 2010. — (Научный проект «Народ и власть: История России и ее фальсификации»). — Вып. 1 // <http://www.isras.ru/publ.html?id=1930> (Далее — *Народ и власть*). С. 206.

⁴ Цит. по: *Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю.* Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 3-я часть // *Власть*. 2010. № 6. С. 13.

⁵ *Народ и власть*. С. 159—160.

⁶ Там же. С. 112. Кстати, буквально в наши дни (декабрь 2011 г., январь—февраль 2012 г.) мы увидели демонстрацию нынешней властью незнания механизмов контроля публичного мнения в условиях информационного общества, где хозяйничают сетевые структуры, причем, как правило, зарубежные — *А. Ф.*

⁷ См. также: *Марченя П. П., Разин С. Ю.* «Смутоведение» как «гордиев узел» россияведения: от империи к смуте, от смуты к..? // *Россия и современный мир*. 2010. № 4. — С. 48—65.

⁸ См.: *Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю.* Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 1-я часть // *Власть*. 2010. № 4. С. 16—17.

⁹ *Народ и власть*. С. 39.

¹⁰ См.: *Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю.* Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 5-я часть // *Власть*. 2010. № 8. С. 12.

¹¹ *Народ и власть*. С. 164.

¹² Там же. С. 47.

¹³ Там же. С. 40.

¹⁴ Там же. С. 47.

¹⁵ Там же. С. 46.

¹⁶ Там же. С. 233.

¹⁷ См.: *Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю.* Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 4-я часть // *Власть*. 2010. № 7. С. 9—11, 11—12.

¹⁸ См. также: *Марченя П. П., Разин С. Ю.* Империя и Смута — инварианты российской истории // *Федерализм*. 2010. № 3. С. 121—134.

¹⁹ *Народ и власть*. С. 220.

²⁰ Там же. С. 235.

²¹ Там же. С. 158, 159. Корректнее, на мой взгляд, было бы говорить о распаде государства, т. е. некоего института и явления; государственность — сущность и как таковая распасться не может. Думаю, что речь у А. М. Колганова идет о распаде именно государства — *А. Ф.*

²² Там же. С. 81.

²³ Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 6-я часть // *Власть*. 2010. № 9. С. 20.

²⁴ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 2-я часть // *Власть*. 2010. № 5. С. 13.

²⁵ *Народ и власть*. С. 82.

²⁶ Там же. С. 83.

²⁷ Там же. С. 88.

²⁸ Там же. С. 83.

²⁹ Там же. С. 90.

³⁰ Там же. С. 237.

³¹ *Народ и власть*. С. 267.

³² Там же. С. 49.

³³ Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 2-я часть // *Власть*. 2010. № 5. С. 13.

³⁴ *Народ и власть*. С. 86.

³⁵ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 6-я часть // *Власть*. 2010. № 9. С. 18.

³⁶ *Народ и власть*. С. 289.

³⁷ Там же. С. 87.

³⁸ Там же. С. 86.

³⁹ Там же. С. 144.

⁴⁰ Думаю, в тексте опечатка — по логике речь должна идти об объекте — А. Ф.

⁴¹ Там же. С. 112.

⁴² Цит. по: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 5-я часть // *Власть*. 2010. № 8. С. 10.

⁴³ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. «Народ и власть в российской смуте»: прошлое и настоящее системных кризисов в России // *Вестник архивиста*. 2010. № 3. С. 292.

⁴⁴ *Народ и власть*. С. 253.

⁴⁵ Там же. С. 255.

⁴⁶ Там же. С. 138.

⁴⁷ Там же. С. 274.

⁴⁸ Там же. С. 279.

⁴⁹ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 4-я часть // *Власть*. 2010. № 7. С. 12.

⁵⁰ *Народ и власть*. С. 236.

⁵¹ Там же. С. 237.

⁵² Там же. С. 202.

⁵³ Там же. С. 197—198.

⁵⁴ Там же. С. 201—202.

⁵⁵ Там же. С. 200.

⁵⁶ См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 1-я часть // *Власть*. 2010. № 4. С. 16—17.

⁵⁷ *Народ и власть*. С. 272.

⁵⁸ Там же. С. 267.

⁵⁹ Там же. С. 271.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Там же. С. 268.

⁶² См.: Булдаков В. П., Марченя П. П., Разин С. Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте»: 3-я часть // *Власть*. 2010. № 6. С. 14.

⁶³ *Народ и власть*. С. 33.

⁶⁴ Там же. С. 38.

⁶⁵ Там же. С. 30.